

DOI 10.18522/2500-3224-2023-4-158-173

УДК 93/94



«ЛЕДИ МАКБЕТ МАЛОРОССИЙСКОГО УЕЗДА»: ВЛАСТЬ И НОРМЫ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ В ИМПЕРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Потапова Наталья Дмитриевна

Европейский университет в Санкт-Петербурге,

Санкт-Петербург, Россия

kezey@eu.spb.ru

Аннотация. Статья посвящена реконструкции нормативного порядка повседневной жизни малороссийских обывателей, купечества и мещан города Чернигова в начале XIX в. В результате анализа показано действие реконфигурации социальных отношений в городе вследствие вторжения в традиционный мир Старого порядка имперских институтов Нового времени: полиции и медицины. Показаны конфликты, в которые были вовлечены жители Чернигова и которые влияли на их видение событий и формировали их субъективности, определявшие способность к действию в критический момент. В фокусе внимания период, предшествующий выделению внутри общества Старого порядка новой публичной сферы, определяемой в концепции Ю. Хабермаса как важный маркер перехода к Новому времени. Мы рассматриваем уровень норм, правил и культурных практик социальных акторов, сталкивающихся с вызовами новой рациональности, производимой Просвещением, обретающих большее пространство свободы в частной жизни, но переживающих напряжение инерции старых нормативных систем.

Ключевые слова: Малороссия, купечество, мещанство, историческая антропология, микроистория, история повседневной жизни.

Цитирование: Потапова Н.Д. «Леди Макбет Малороссийского уезда»: власть и нормы обыденной жизни в империи нового времени // Новое прошлое / The New Past. 2023. № 4. С. 158–173. DOI 10.18522/2500-3224-2023-4-158-173 / Potapova N.D. "Lady Macbeth of the Little Russian District": the Power and Norms of Everyday Life in the Empire of Modern Times, in *Novoe Proshloe / The New Past*. 2023. No. 4. Pp. 158–173. DOI 10.18522/2500-3224-2023-4-158-173.

© Потапова Н.Д., 2023

“LADY MACBETH OF THE LITTLE RUSSIAN DISTRICT”: THE POWER AND NORMS OF EVERYDAY LIFE IN THE EMPIRE OF MODERN TIMES

Potapova Natalia D.

European University at St. Petersburg,
St. Petersburg, Russia
kezey@eu.spb.ru

Abstract. The article is based on the results of anthropological analysis of investigative materials. It is devoted to the reconstruction of the normative order of everyday life of Little Russian inhabitants, merchants and townspeople of the city of Chernigov at the beginning of the 19th century. As a result of the analysis, the effect of reconfiguration of social relations in the city is shown, due to the invasion of the traditional world of the Old Order by the imperial institutions of the New Age, the police and medicine. The conflicts in which the residents of Chernigov were involved and which influenced their vision of events and shaped their subjectivities, which determined their ability to act at a critical moment, are shown. The focus is on the period preceding the emergence of a new public sphere within the society of the Old Order, defined in the concept of J. Habermas as an important marker of the transition to the New Time. We consider the level of norms, rules and cultural practices of social actors facing the challenges of the new rationality produced by the Enlightenment, gaining greater freedom in private life, but experiencing the tension of the inertia of old normative systems.

Keywords: Ukraine, merchants culture, historical anthropology, microhistory, history of everyday life.

25 января 1805 г. секретарь Черниговского городского магистрата Петр Чернышев закончил экстракт из дела, которому предстоял длинный путь по инстанциям, через Малороссийский Черниговский генеральный суд до уголовного департамента Сената в Петербурге¹. Это годы тюрьмы, несвободы, нездоровья, страха, беспомощности. Кипы бумаг, километры прогонов по новому тракту, шуршание уплаченных пошлин. В тот день, когда имперская судебная машина завертелась, подсудимая не то на коленях, не то «кланяясь в ноги» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 33об.] умоляла мужнину родню не доводить до суда, суля взамен 50 червонцев – в десять раз больше, чем она платила прислуге за год. Муж обвинял ее в супружеской измене и попытке его отравить, – если в обыденном представлении жене грозила мужнина плеть, появление полиции чревато было для нее каторгой. Чиновники нового губернского города, верстая дела и отрабатывая непривычное жалованье, вверяли далеким неведомым делопроизводителям столицы, «не чиня по нему исполнения... на благорассмотрение», судьбы своих горожан, не решаясь сами принять решение по делу, в котором были завязаны тесными соседскими и деловыми связями, подношениями, посулами и уговорами, родством и взаимным поручительством, неизбежностью города, в котором все друг друга знают. Все или почти все: по реформе в 1801 г. была образована новая Черниговская губерния, и город стал обрастать новыми присутственными местами, сменявшими остатки старого полкового управления гетманщины, формально упраздненной за два десятилетия до этого. В город стали прибывать новые люди, умение грамотно писать по-русски и по-имперски «грамотно» вести дела ценились, тесня связи со старыми полковыми элитами.

В этой статье представлена попытка реконструкции повседневной жизни малороссийских обывателей, бесписьменных, но не безмолвных. Дело, о котором пойдет речь, не уникально. Оно интересно как пример, позволяющий одновременно показать возможность антропологического прочтения следственных материалов [подробнее о подходе: Сэбиан, 2003, с. 58–85], и достаточно репрезентативно, чтобы выявить социальные страты, которые редко попадают в кадр историографии, сфокусированной на жизни образованных столичных элит. В этой статье мы попробуем напомнить о «других». Расслышать в этих бюрократических протоколах малороссийскую речь, суржик двухсотлетней давности, почти невозможно. Те «голоса», которые проступают в протоколах судебного магистрата, заставляют еще раз задуматься о сложном поле власти, одновременно производящей и деформирующей источники и наши представления о прошлом. Они скорее напоминают стройный мотив русских песен. Мы слышим голос имперских чиновников, остраивающих жизнь обитателей Малороссии, которая не во всем соответствует их представлениям о норме. Однако до того, как дело было отправлено в Петербург, из полиции оно попало в городской магистрат, наследие дарованного польскими королями много

¹ В основе статьи материалы, сохранившиеся в фонде 5-го уголовного департамента Сената, – «Экстракт из дела о жене Черниговского купца Григория Калиты Анастасии Калиткиной и Черниговского купца Михаила Цвета сыне Николаи Цвете, якобы за отравление первою онаго Калиты ядом, а последним за участие в том учиненный в Черниговском городском магистрате 1805 года генваря 25 дня» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849].

десятилетий назад городу магдебургского права. В данном деле мы видим, что магистрат способен еще оказывать сопротивление имперским полицейским институтам, отстаивая корпоративные интересы торгового сословия. Это противостояние и формирует две противоположные версии, русифицированные и связанные общими предрассудками, которые мы сравним в данной статье.

Сохранилось не так много описаний Чернигова этого времени, и они также передают имперский взгляд на город. Статистические описания и «записки старожилов» адресованы жителям столиц и описывают город в категориях пасторального любования пейзажем и того, чего город был «лишен»: благ регулярного города с его прямыми улицами и благ регулярного государства с его учетом податного населения. Их авторы показывают Чернигов на этапе перехода от местного «произвола» к имперской воле: в нем «было две улицы, удобные для свободного проезда двух повстречавшихся экипажей: Александровская и Гончая. Остальные переулки уподоблялись своими извилинами *своейравному* течению ручьев, завися совершенно выступами и уступами от *произвола* хозяев, которых места прилегали к этим жилам внутреннего сообщения. Правда, стояли уже *вехи, означающие предназначенное планирование города*. Но это не мешало Чернигову дымиться из-под навесов соломенных крыш, покрывающих почти три четверти города. Некоторые мещане, глядя на *вехи, грозящие сносом* домов или разрезом дворов, признавали в этом одно *своеволие и личность* землемера. Во многих местах стояли *развалины потухших* винокурен, осененные густыми рощами спасовских груш и бергамотов» [Лазаревский, 1888, с. 55–62]. Паутина переулков превращается для статистиков в четыреста крытых соломой деревянных домов (дворов было на сотню меньше — одно хозяйство могло объединять несколько семей, дворы были не очень людны, в одном доме жило несколько взрослых человек, но чаще меньше десятка). Город деревянный, в нем всего два каменных здания и новый губернаторский дом с его балами и визитерами, лакеями и каретами¹. Имперские обозреватели показывают Чернигов как город православный и торговый: в нем Елецкий (Успения) монастырь, два собора (Спас-Преображенский и Борисоглебский), при них, как положено, есть богадельни и что-то вроде училища, сады, есть много торговых лавок и базар, и это город ярмарочный, живущий рыбой с Десны и Стрижени да мелкой розничной торговлей, с небольшим даже для этих мест годовым оборотом на сумму не более 40 тыс. руб. Торговали в основном пенькой, рыбой, железными изделиями, посудой да мелочевкой и успех скрепляли тут же в трактире. Помимо двух каменных административных зданий, появились и свои имперские блага: баня, полиция, аптека, дом коменданта.

¹ По материалам 3-й ревизии, на 1763–1766 гг. в городе было 289 дворов и 412 жилых домов и проживало симметричное число мужчин и женщин — по 915 душ обоего пола. Раннюю статистику не заболит неупорядоченный хаос реальности, ее интересовали те, на ком лежали податные обязательства, — мужчины, а также статистическое обоснование их способности к умножению душ. Полвека спустя статистики покажут иное число и акцентируют гендерную диспропорцию: 4139 душ мужского пола и 2837 женского, будто бы проживавших все в тех же 412 деревянных домах [Штер, 1829].

Кажется, что Чернигов – обычный губернский город, с непролазной грязью в распутицу, с сугробами выше плетней, мимо которых в другое время везут сено да хлеб копнами, ходят свиньи и коровы. Имперские описания внушают, что от упраздненной за двадцать лет до этого гетманщины не осталось и следа, как не осталось памяти от доминиканцев (их монастырь стал православным), нет поляков, католиков, евреев. Только православные торговцы в забавных цветастых «народных» одеждах. Между тем в городе были не только монастыри, но и две синагоги, культурное, национальное, языковое пространство города было сложнее, но столичные источники его намеренно игнорируют.

Ровесники французской революции, старожилы показывают имперскому читателю колоритные женские фигуры, ярко выделяющиеся среди малороссийской толпы: они не только торгуют, они активно присутствуют в публичном пространстве, норовя ворваться в политику – и только неграмотность ставит им препятствие у дверей суда. «Толпа баб в бумажных колпаках с засученными рукавами в зеленых байковых исподниках с черными мушками», точно с открыток модных «социальных типов», тут же высыпала на улицу, как только случилось малейшее нарушение или изменение «чего-нибудь угодного мещанским привычкам», на шум появлялся квартальный надзиратель (еще одно имперское благо), выслушивал гам, в ход шли «позы и сверкание очей, десятские брали главную зачинницу в часть и освобождали уже по ходатайству мужа, приносившего «за пазухой подарочек». Мы застаем наших городских обывателей в год, когда где-то в далеком Петербурге шумно обсуждают новый кодекс Наполеона. Этот кодекс был призван обуздать третье сословие, утверждая, что «жена может быть купцом (*la marchande publique*) и не обладать общностью имущества с мужем», но «обязана жить с мужем и следовать за ним повсюду, где он решит... муж обязан оказывать покровительство жене, а жена – послушание мужу» [Chapitre, 1804, p. 53].

В той же плоскости вопроса о границах гендерных и имущественных прав разворачивался и конфликт в данном деле. На повальном обыске открывается, что малороссийские купчихи не просто владеют лавками – они ведут дела, запросто торгуются с мужиками и управляют с товаром «без бытности мужа» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 40об.], ладят и справляются с конкурентами, сами правят дрожками и сами решают, где и на что тратить червонцы, с кем и где проводить время, с кем ездить купаться, пить квас, сбитень или чего еще в трактире, с кем болтать на праздниках и на базаре. Но свобода их относительна и имеет пределы до тех пор, пока не противоречит интересам мужчин в семье. Женская свобода находится в прямой зависимости от желания и возможности семьи оказать им покровительство, где отец и братья могут выступить против мужа и его родни. Самим женщинам народная молва приписывает традиционное оружие – яд. Главной силой в обществе старого режима была эта самая молва, способная уничтожить одних участников конфликтов и поддержать других. Свобода существует лишь вдали от чужих глаз и пересудов. В этой культуре традиционное орудие – позор, а инструмент – сплетни. Семья Калиты, до женитьбы на хозяйке бывшего

простым сидельцем в лавке, пытается свести счеты с его независимой супругой, прежде всего опозорив ее.

Вся история началась сентябрьским воскресным днем. После обеда на дворе черниговского купца Григория Калиты был слышен шум и ссора: из дома выскочила простоволосая хозяйка, кричала «поратуйте!», за ней гнался нетвердо стоявший на ногах хозяин «в великом азарте», не дал ей выбежать за ворота, вместе с братом и прислугой схватил ее, братья ловко выкрутили ей руки и что-то отняли. Хозяйка отбивалась, кусалась, кричала, плакала, на коленях просила о помощи, сулила деньги и спряталась от мужа в пекарне. К вечеру в доме собралась родня обеих сторон – хозяйка позвала на помощь своих родителей (дом этот раньше принадлежал им и был передан зятю в приданое), собрались братья хозяина и снова бранились, стучали кулаками и грозились расправой. Хозяин утверждал, что жена хотела его отравить и что он умирает, родня пыталась его унять. Тем временем слухи о ссоре уже разнеслись по городу – на базаре обсуждали, что, мол, «купеческая жена отравила мужа своего», к дому «нарочно» устремились любопытные, но лишь под благовидным предлогом родства кое-кому удалось проникнуть внутрь. Тесть пригласил акушера с лекарем, – братья в ответ, завидев шедшего мимо квартального надзирателя, привели его в дом. Хозяйка снова плакала и божилась, хозяин снова горячился и грозился всех проучить. Если верить рассказам, то получается как в сказке: три дня продолжались попытки родни примирить супругов, трижды по три просила она о пощаде и трижды по три прощал он ее. Но обращение в полицию не прошло даром: квартальный написал рапорт, и на третий день, когда в доме вновь собралась вся шумная родня, а у дома столпился народ, – квартальные надзиратели, буквально, как в рассказах старожилов, увезли Анастасию Калиткину со двора как арестантку в полицейскую контору. И дело завертелось. По городу уже не первый день ходили пересуды, когда в полиции наконец записали показания всех участников драки, история приобрела черты фольклорной баллады о купеческой жене и любовнике, пытающихся извести постылого мужа, – народного цикла, который опять же десятилетия спустя будет представлен публике в знаменитой новелле Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». В реальности бедный примак Григорий Калита, не раз заигрывавший, как говорили, с молоденькими девками, в свои неполные тридцать лет как-то вдруг в этом сюжете оказался в функции богатого супруга, старого и постылого. Еще через пару дней неграмотному Григорию Калите в полиции помогли составить прошение, в котором эта версия обросла необходимой в делах о прелюбодеянии риторикой. Под пером имперских делопроизводителей, составлявших прошения, обыденная жизнь купчихи превращается в «непозволительное самоволие», предосудительное как «свобода беспрепятственного и незаконного обхождения», «удалив от себя страх божий и стыд народный», «породив ненависть» к своей якобы жертве «таким убеждением своего своеволия и жестокости», «отважилась на безбожное дело», пренебрежение долгом супружеской верности и обета венчания [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 31об.–33]. Следуя этой возвышенной стилистике, истец требовал «возмездия, дабы они поступки свои возчувствовали» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 34]. Составители прошений

подробно и опытно расписывали уголовные и процедурные основания обвинения и защиты. Благодаря этому делу мы можем наблюдать, как имперские порядки и новые органы власти позволяют местным агентам усиливать свои позиции и ослаблять прежде влиятельные кланы. Случайная супружеская ссора показала действие реконфигурации социальных отношений, произошедшей за счет проникновения империи, и вскрыла противоречия, которые управляли поведением жителей Чернигова и формировали версии.

Мы видим обывателей, лишенных частной сферы. Дело началось в разгар «бабьего лета» — постель стелили «в хате»¹ и «в сенях» (на рундуке), отделенных дверью, которую днем не затворяли. Так в зоне общего контроля оказывается даже место сокровенного в прямом и переносном смысле, под подушки, например, «прячут... червонцы» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 25], заворачивая их в платок [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 106] (частное пространство в этом обществе сжимается до уровня тайника, местонахождение которого может стать известно при определенных условиях домохозяевам и прислуге). Ворота отделяют этот семейный мир с его склоками от посторонних, воротами «ударяют сильно» в гневе на семью [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 41об.], за ворота бегут, ища спасения от одиночества в реке или чаще — спасения у других людей. Уединение подозрительно. Прислуга покажет полиции, что хозяйку посещал купеческий сын, «когда хозяйина ее в доме нет, ходил их хозяину в дом... и если придет то жена хозяинова запрещала ей и бабе входить к ним в горницу, а иногда высылала из двора хоть к матери своей или в лавку к хозяину зачем нибудь» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 29об.]. Обычное вроде было дело — отослать прислугу в пекарню — в новом контексте означает подозрительное желание уединиться.

Пекарня — место обитания прислуги — стояла на дворе отдельно от дома. Планировка двора воплощала неравенство среди домохозяев, определившее и то, как они поведут себя во время конфликта и чью сторону примут на допросе. Вытесненные по разным причинам на пекарню обитатели дома поддержат хозяина-примака, который мог бы пополнить их число, если бы не женился на хозяйке. На пекарне хозяйка поселила его брата-приживальца («по разному ремеслу для житья») [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 27об.], явно оказав ему немилость. Там же живет определенная в дом по просьбе мещанина Демковского (родни квартального надзирателя) старуха-мещанка, а также стоящая в социальной иерархии ниже вольнонаемных мещан наемная девка, дочь казенного крестьянина, молоденькая служанка, которой хозяин год назад за какие-то заслуги поднял жалованье в полтора раза. Все они проявят солидарность с вышедшим из их среды истцом Григорием, поддерживая своими домыслами его версию в полиции.

Подозрительным на уровне домыслов становится то, как в день ссоры хозяйка вдруг унизила себя, взявшись сама прислуживать мужу. Обычно именно прислуга

¹ «Хатой», как у подлого люда, ее называют в полиции. Секретарь магистрата запишет «горницей» и «светлицей», подчеркнув высокий статус хозяйки.

не только стряпала, но и подавала на стол и вообще «пособляла». Когда Григорию понадобилось доказать версию отравления, он подчеркнул ритуально-покорные жесты жены, необычные для нее. Причем градус этой «странности» ухаживаний возрастает пропорционально предубеждению: сама она не придает особого значения тому, как «пред вечерю налила мужу своему румку и дала ему» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 26], в его же показаниях действие поэтизировано: мол, сама «налила ему в румку водки и *поднесла* ему, и подносячи говорила випей она с имбером» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 26об.]; его младший брат подчеркивает, что та унизилась до тяжелой работы, которую делала за нее прислуга, «винявши с печки сама горщик и наливши с онаго в миску супу понесла сама же в хату» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 28]. Настасья в ответ вынуждена была оправдывать такую свою «расположенность» к мужу его болезнью [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 41], которая, в ее трактовке, произошла от пьянства и загула «по разным местам» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 38об.], а вовсе не «трутизны». «Недоброхотствует» хозяйке и молоденькая служанка. Она готова подтвердить обвинения хозяина: «то варенье пробовала, с ней было как с хозяином» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 29об.].

Вынесенный перед честным обществом конфликт оказывается состязанием репутаций, которые пропорциональны силе и могуществу родового клана, способного сдерживать любые проявления классовой солидарности домочадцев: что прощается одним, не сойдет с рук другим. И в этом деле мы видим, как семья жены пытается на людях обуздать разбушевавшегося мужа. Однако привлечение им новой силы — имперской полиции — легко умиряет привыкшую к независимости супругу до бесчувствия¹. В результате ее мычание, вздохи и покорное «эге»² под рукой мужнина приятеля, квартального Демчинского, превратились в связный протокол полицейского допроса, в котором как бы «с ее слов» была описана история купеческой жены-отравительницы и ее любовника. Что, мол, «назад тому четверть года муж ее Григорий Калитка привел к себе купца черниговского Михаила Цвета сына Николая в гости, который пришедши и между разговорами открыл ей любовь свою к ней, и после сего будучи она по коммерции и он в лавке своей подговаривал он ее, чтобы лишить жизни мужа ей, и когда она лишит его, то возмет за себя, достал ей назад тому неделя две или три порошков белых и дал ей с тем, чтобы она дала мужу в чем нибудь выпить» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 25об.–26]. В полиции ее навестил брат, срочно бросив дела в Нежине, где он жил «по казенным подрядам» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 102об.], приехал в Чернигов на помощь к сестре и шестидесятилетнему отцу и наставлял ее, что и как говорить.

¹ Когда ее везли в участок, как арестантку, как запишут в протоколах магистрата с ее слов, бойкая прежде Анастасия Калиткина якобы была «вне себя... в великом страхе и отчаянии... а в таком положении, конечно, неудивительно показать можно совсем небывалое» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 39об.].

² Как утверждали потом в магистрате ее родственники, что, мол, она «обомлела, на землю впала» и говорила на все вопросы только «э... эге», и что допрашивать в таком состоянии в полиции было «против прав человеколюбия» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 58–58об., 100об.].

Благодаря вмешательству семьи неделю спустя дело было передано в городской магистрат, и расстановка сил вновь изменилась. От имени неграмотной и напуганной подсудимой были записаны еще более пространные показания, оформленные не хуже, чем показания ее неграмотного мужа, но в ее пользу. Имперские профессионалы обслуживали малороссийских обывателей, подсказывая им логику и термины для дискредитации противника в судебном поединке, каждый из противников оказался при посредничестве профессионалов вооружен одинаковыми по качеству «бумагами». Во что обошлось семье их изготовление, точно не известно. Но дело не прекращали, месяц за месяцем «раскручивая» стороны на новые инвестиции в поединок. Дело, в котором на кону оказалось завидное приданное и ставшая не менее завидной свобода, обошлось сторонам в сумму, намного превзошедшую начальные ставки.

Ответчики в этом деле принадлежали к двум влиятельным торговым черниговским семьям: семья Настасьи торговала «на вывоз». И брат ее, и отец, и предполагаемый любовник часто выезжали в другие города со своим товаром. Одни держали трактир, другие – постоянный двор. Своего предприятия у примака Калиты не было, доход он получал от того, что пускал в дом постояльцев, а лавку сам нанимал на откуп у отца мнимого любовника [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 91], а до того работал у него по найму [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 101].

Когда младший брат Григория Калиты, Емельян, из милости взятый в дом, вырвал во время драки из рук Настасьи заветный платок, в котором были завернуты бумажки с порошками (предполагаемый яд), Настасья сулила за них 50 руб. Оборотистая хозяйка явно выступала как более обеспеченная и властная, протоколы же фиксируют жесты-маркеры унижения и падения: как она упала на колени перед младшим Калитой (еще недавно она и вовсе не считала нужным с ним «обращение» и держала его «из милости на кухне»). Сильная и богатая хозяйка, замужем за слабым и бедным примаком, вместе с братьями пользующимся и мечтающим еще больше освоить ее имущество. Она не очень-то считалась с ними, пока у них не появилась возможность «найти на нее управу». Емельян не польстился на ее посулы, привел в дом квартального, и цена возможной сделки во много раз возросла. Братья запросили с семьи обвиняемой жены 1000 руб. за прекращение дела [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 105] – сумму, на которую можно было купить вполне приличный домик в столице, породистого жеребца или немецкой работы карету, иными словами, вещи, невысказанные по своей роскоши для жизни в Чернигове¹. Появление в этом поле имперских чиновников увеличивает ставки, и цена вопроса резко возрастает, грозя разорить семейный бизнес. Участие имперских институтов придает обычному конфликту импульс, сравнимый по силе с пугающими Чернигов размахом и стоимостью петербургской жизни. Управу горожане надеются найти в

¹ В Чернигове на 5 руб. можно было кормиться год, – в Петербурге пару недель. Два города разделяла социальная пропасть. Жизнь столичной бедноты требовала доходов раз в 25 больше, чем в Чернигове. Общее представление о структуре цен можно, с оговорками, составить по материалам столичных газет.

городовом магистрате, где родственники Настасьи будут жаловаться на мздоимство своих зятьев.

В рапортах имперской полиции тяжущихся супругов кличут «Калиткой» да «Калиткиной», как обычных подлых простолюдинов. Перед городовым магистратом они предстанут как «Калиновский» и «Калиновская», — делопроизводитель, помогавший истцу составить прошение для магистрата, пропишет его прозвание на польский манер, ошибочно связав с родом, известным в Чернигове своими воеводами (Kalinowski). Но эта ошибка быстро вскроется, как только стороны лично предстанут перед действовавшим по магдебургскому праву судом. Избранные корпорацией из своего сословия судьи увидят перед собой бывшего сидельца лавки, решившегося возвести обвинение на двух отпрысков уважаемых в городе торговых домов. Вызванный для дачи показаний мнимый полюбовник Николай Цвет (так его именовали в имперской полиции) для магистрата был Колединским, к этому черниговскому роду принадлежал когда-то гетман Мазепа, в польском делопроизводстве также варьировалось написание их родового имени как Kołodup или Kołoduyński, они занимали высокие должности при гетманщине, и хотя после поражения Мазепы формально сменили фамилию на прозвание Цвет, но в Чернигове и сто лет спустя, как показывают материалы этого дела, их знали и помнили по прежнему родовому имени. В отличие от имперской полиции, выборный магистрат с заметно большим уважением отнесся к интересам двух уважаемых фамилий, дети которых были оговорены примаком-Калитой. Первый вопрос, который Григорию зададут в магистрате, должен был поставить зарвавшегося выскочку на место: «по какому резону» назвался он Калитинским, — и тот испуганно объяснит, что произошло это «по неграмотству его... примечает он, что сие последовало по ошибке писателей, а как он оставшись в малолетстве от отца своего, то слышал, что оного отца его прозивали Калитой» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 47об.]. Чиновники магистрата подчеркнут подлость его происхождения: «по справке с ревизии о купцах и мещанах сего города на 1795 год сочиненной явилось, что написан он по оной Калитой» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 44].

За это время бесписьменные, но болтливые обыватели успели многое рассказать о своей жизни в Чернигове. Из протоколов мы видим, что они не привыкли мерить время имперским календарем и придавать значение датам. Купеческое время отмеряется четвертушками, а дни отсчитываются штучно, как товар. Лишь оправдываясь, купцы на допросах вспоминают большие церковные праздники («*пред Воздвиженьем дней за два или за три... пред десятою пятницую*», «*Филиппова поста, о какого месяца и числа... припомнить не может*») и время церковной службы («*как вышла с поздней обедни*»), соблюдение церковных ритуалов не играет в повседневной жизни организующей роли. Время мерят по привычке временем суток (поутру, того вечера) или приемом пищи (вечеря, ужин) — это важнее, чем время молитвы, которую не принято соотносить с мирским. Не часто купцы вспоминают про сезон — смена времен года вспоминается купцами в контексте игрищ и уличных развлечений.

Исполняемые во время таких гуляний песни оказываются тем контекстом, с которым соотносятся обстоятельства дела. Под пером российского чиновника черниговские городские обыватели начинают напоминать персонажей песен и баллад, вроде тех, что издавали собиратели XVIII в., Михаил Чулков (служивший, к слову, при Сенате и интересовавшийся в числе прочего ядами) или Михаил Попов. Можно предположить, конечно, что наши малороссы жили, как пелось, а пели, как жили, — и пелось так потому повсеместно, что жили так повсеместно в России. Но можно увидеть в этом имперскую стратегию обуздания и примитивизации «других», реализуемую благодаря выбору жанра.

Любители песен на повальном обыске напряженно внимательны к тому, как их знакомцы могут переговариваться через окошко или зайти в дом, оставить лошадь снаружи у ворот или завести во двор и т.д.¹ Оставаться наедине с мужчиной в песенной культуре неприлично, подозрительно. Пространство, скрытое от чужих глаз, не должно выпадать из-под контроля семьи. Бывать там прилично в сопровождении мужчин-родственников либо старших женщин. Конечно, не предполагалось, что молодые женщины должны сидеть в «хате», как в высоком тереме. Они могут без сопровождения ходить на богомолье в монастырь [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 74об.]. Когда они рассказывают о себе в магистрате, представление об их жизни преисполнено благочестия. Между тем, в рассказах старожила, это шумная и крикливая толпа, да и молодые мужчины, рассказывая обстоятельства дела, не видят зазорного в том, чтоб «ходить в дом без прозьбы» хозяина [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 35] — из их рассказов, напротив, следует, что здесь принято делать друг другу «угощенье» и «подчевать», «иметь обращение, дружбу и компанию», «проводить время в разных разговорах» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 43, 69], при муже или наедине, «как обыкновенно между людьми бывают». Молодые холостые мужчины свободнее и словоохотливее сообщают суду больше пикантных подробностей. От приятеля обвиняемого Алексея Березовского мы узнаем, как они обычно проводили время, болтали о бабах и угощались друг у друга, зимой ходили к дому губернаторскому, как Золушка в сказке, слушали под окнами музыку бала, под чужими окнами охальничали и подглядывали за рожавшими бабами², шутили и над отношениями Калиткиной с приятелем мужа, когда заставляли их, ворвавшись вдруг в дом без приглашения, сидящими вместе на постели [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 49об.–50]. Ревнивый муж обвинит их в том, что они, «трафляя то время когда он Калита вшедши со двора на базар в торговую его лавку и там находился, а он тут с женою его обращался, как ему угодно, пьют едят блудодействуют» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 66об.], и что, мол, ночевали вместе на постоялом дворе,

¹ Место, где привязан конь, указывает в этой логике на длительность и, следовательно, цель визита (у ворот — прилично, на дворе — неприлично): «дружку высказала: станови добра коня посреди бела двора, привяжи его к столбу, к золоченому крыльцу, иди прямо на крыльцо, мой тятенька сударь спит...». В песнях женщина призывает возлюбленного «ходить затемно, огородами, переулками, лезть в окошко» — как вор, украдкой (если он — вор, то она — собственность).

² Известная тема лубочных картинок [Ровинский, 1881].

когда тесть отлучался по делам, и встречались в трактире¹ — главное, не на глазах, а «отделясь в двоих с женой в особое место той харчевни провождали там всегда доволное время обращаясь как им угодно», и что, мол, и на людях, «без страха приходя к жене его туда всегда имел разные разговоры шутки и смехи», и даже вместе купались нагими. Пока по соседям собирали обыскные речи, дело обрастало пересудами (в магистрате это называли «пронесшийся слух о любви» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 82]).

Эти жесты мира и любви в протоколах опять же представлены в категориях популярнейших среди чиновников российских песен — например, деверь якобы говорил мужу: «Григорий сколко не верти, надобно тебе с ней век коротать» (ср. «с ревнивой женой мне век вековать, а с тобой часок часовать», — объясняет персонаж песни полюбовнице, которая просит его избавиться от постылой жены), как жена «впала ему в ноги и говорила прости мене Григории Андреевич, я тебе ни в чем не виновата... то брат его Федор говорил ему Калите дай ей руку поцеловать» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 54–55об.].² Репертуар образов «любви» в этих показаниях так же неширок, как в старых песнях: «держат за руку, целовать, обнимать, на колени сажать» — это о любви законной. Для рассказов о любви страстной предполагается лишь «смеяться да краснеть», вместе «кататься на дрожках» и «дарить подарки». В нашей истории на дрожках может прокатить сама «леди Макбет», она так же независима, как и ее избранник, дрожки ей дает отец. Лишь у постылого мужа в этой истории нет ничего.

Как только дело попадает из полиции в Черниговский магистрат, показания ответчиков начинают звучать возвышенно и благопристойно. Говорится про покорность, «приверженность и почтение» к мужу, признание его патриархальной власти в доме (это «его дом», повторяет ответчица много раз), только он здесь «чинит взыскание» провинившейся прислуге и приказывает домочадцам, и жена сама его пьяного тащит на себе в дом [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 36об.–39]. А обвинения в прелюбодеянии в магистрате обратятся против ревнивого мужа: Цвет, мнимый любовник, будет утверждать, что это сам Калита прилюдно на базаре «брал за грудь»³ свою семнадцатилетнюю служанку, как купчихи и купеческие сыновья смеялись, дразнили и гоняли ее, и, мол, ссора с мнимым любовником произошла у Калиты

¹ Ср. мотив русской песни: «как повадилась Дуняша в особливой спальне спать». Для логики фольклора важно, что дело происходит там, где персонажей, Дуняшу и ее полюбовника, «не видят» те, кто имеет право контролироваться, родня.

² Ср. распространенную в народных песнях трактовку прощения мужем жены: «жена мужу покорилась, на колени становилась, в резвы ноги поклонилась» [Великорусские народные песни, 1897]. Лубочные картинки, скопированные с немецких оригиналов первой половиной XVIII в., широко тиражируемые вплоть до 1840-х гг., изображали, как жена просит на коленях помиловать, в стороне стоит невестка и не знает, чем помочь. Второй распространенный сюжет, как муж бьет жену плетью — позорит на людях [Ровинский, 1881, с. 182–184]. Главный смысл происходящего — телесное выражение позора, как и провоз арестантки. После позора «жизни» нет, народные песни предполагают, в сущности, один выход — «утопиться», «удавиться», или второй вариант — «идти в кабак напиться» (к публичным девкам).

³ Ср. «я держал красну девицу за белые груди» [Чулков, 1780].

из-за девки, а не из-за жены [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 35]. Родители обвиняемой писали в магистрат прошения, стараясь ее защитить через другой фольклорный мотив постылого супружества: загубленная женская жизнь и красота — эта тема часто звучит в балладах и песнях. От постылого супруга или супруги можно избавиться не только зельем, но и посадив в тюрьму оговором: «ох как муж жену любил, в тюрьме место прикупил». Прощения родителей обвиняемой проецируют обвинения зятя на него самого: не дочери их опостылел супруг, не она взмыслила убить его, не она пышет здоровьем и любовью, — это она опостылела супругу и именно он ищет способы избавиться от нее, не жалея денег, чтоб «прикупить место в тюрьме».

Баллады об отравлении — распространенный и старый сюжет. В них предполагается, что яд, зелье собирает и готовит своими руками женщина — и ритуальным жестом подносит «чару зелена вина» жертве, «свое горе проклинаячи». В нашем деле появляется аберрация: отраву (отруту, трутизну) готовит не женщина, а мужчина — ее «полюбовник», теперь за «зельем» идут не в поле или к злой ведьме, а в аптеку — купить яду, к аптекарскому подмастерью-гезелю Иоганну Штрауху. Немецкий фармацевт, смешивающий в склянках порошки, подменяет в народном сознании колдуна. Лекари ходят по домам и пускают кровь (чуть не от всех болезней, по моде времени), что в пограничном сознании рождает архаичный страх. Когда лекарь предложил пустить кровь отравленному якобы Калите, братья запрещают [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 56об.].

Не все боятся медицины, но те, кто не боится, народному сознанию подозрителен. Девятнадцатилетний обвиняемый и мнимый любовник Николай Цвет прямо на улице спрашивал лекарского совета, просил рецепт, посещал аптеку и охотно пользовал модные и недешевые по местным ценам гофмановы капли (они обошлись ему в 66 коп., месячное жалованье прислуги в доме купца [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 35об.–37]). Лекари на ходу осматривают пациентов и на обычной бумаге пишут рецепты, аптекари по недействительным рецептам выдают медикаменты, — медицинские институции нового века действуют тут «на доверии», как купеческие лавки. Но если мужчины отваживаются спросить совета экспертов, женщины о своих «женских» болезнях и «матошных припадках» предпочитают говорить не с лекарями, а с другими женщинами. Оправдываясь, где и зачем взяла порошки, обвиняемая не придумает ничего лучше, как сослаться на «одну проезжающую госпожу» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 39об.–40], госпожа «вынув с кармана своего заветную бумажку сказала, что есть порошок полезной и цветом белой и дала ей... с наставленьем таковым чтоб взяла она... квартиру простой горелки, налила в штоф», настояла три дня и мазала спину [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 40]). Братья, «имея по простоте своей предрассудки», опасаются крови и этих «матошных припадков», муж потому же якобы «стал оказывать к ней холодность и презрение»¹ [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 96]. Бойкую Калиткину, которая родила за шесть лет

¹ Ср. мотив «мнимой болезни», которой неверная жена, персонаж все тех же баллад, «изговаривается» от постылого мужа.

замужества четверых детей, и все четверо младенцев умерли, братья обвиняют в стыдной любовной болезни. Церковь в этом конфликте появляется единственный раз, когда священник утверждает на суде, что боролся с суевериями обывателей и, поддерживая имперскую медицину, «советовал Калиткиной личиться» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 89об.–90].

Пока магистрат фиксировал эти мотивы, ход дела в очередной раз изменил имперский институт. Экспертиза установит, что в порошках действительно был мышьяк, крысиный яд, которым те же купцы приторговывают в своих лавках. Протокол черниговской врачебной управы трудно было опровергнуть. Но переданные братом Калиты для экспертизы порошки не были опечатаны, и все вновь перепуталось, давая основание оспорить доказательства. Когда дело при отсутствии трупа вдруг действительно запахло каторгой, тесть обвинит зятя в желании развестись, прибрать к рукам приданое и «взять себе другую здоровую жену, от которой будет он иметь детей и будет ему работать и с братьями знатья» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 97–100об.], а затем в «разбитии данного им дочери в приданое с разными фатами и вещами сундуки» [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 117]. Они попробуют отвести свидетелей обвинения как «недоброхотствующих» конкурентов, указав, что те и раньше доносили на Цветов и Чернавского за подделку ассигнаций и пожароопасность трактира, он также пытался вовлечь в дело новые имперские городские службы, казначейство и полицейскую команду [РГИА, ф. 1345, оп. 98, д. 849, л. 110об.]. В итоге нескольких месяцев скрипенья перьями и рассказов в суде местные чиновники не придумали ничего лучше, как уйти от решения, делегировав дело по инстанциям в Петербург.

Мы застаем наших городских обитателей в состоянии и одновременно в зоне пограничья: имперского, культурного, эмоционального. В город приходит новая администрация и новая власть, вторгается «новое время» с его медициной, полицией, знанием и принципами управления, культурой. В мелких бытовых ссорах на почве ревности проступают столкновения горожан с имперскими «другими», столкновение разных гендерных и возрастных представлений о нравственности и свободе, проступает деловая конкуренция и имущественные конфликты, борьба за статус и влияние, в которой местные агенты пытаются использовать имперские инструменты и институты власти в своих прагматических целях. Мы видим агентов, очевидно обретающих большее пространство свободы в частной жизни, но переживающих напряжение инерции старых нормативных систем.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Великорусские народные песни: научно-популярная литература. Т. 3. Семейные песни. Сост. А.И. Соболевский. СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1897. 542 с.

Лазаревский А.М. Чернигов 80 лет тому назад (Заметки старожила) // *Киевская старина*. 1888. Т. 22. № 8. С. 55–62.

Новейший всеобщий и полный песенник или собрание всех употребляемых, досель известных новых и старых отборных песен лучших в сем роде сочинителей. СПб.: в типографии И. Глазунова, 1819. В 6 т.

Ровинский Д. Русские народные картинки. Атлас. Кн. 4. СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1881. 788 с.

Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1345. Оп. 98. Д. 849.

Смирнов А.П. Песни крестьян Владимирской губернии Ковровского уезда и Костромской губернии Буйского уезда. М.: в Унив. тип., 1847. 188 с.

Сэбиан Д.У. Голоса крестьян и тексты бюрократов: нарративная структура в немецких протоколах начала Нового времени // *Прошлое крупным планом: современные исследования по микроистории*. СПб.: Европ. ун-т; Алетейя, 2003. С. 58–85.

Чулков М.Д. Новое и полное собрание российских песен, содержащее в себе песни любовныя, пастушеския, шутивыя, простонародныя, хоральныя, свадебныя, святочные, с присовокуплением песен из разных российских опер и комедии. Ч. 3. М.: В Университетской типографии у Н. Новикова, 1780. 202 с.

Штер М.П. Статистическое изображение городов посадов Российской империи по 1825 год, составленное из официальных сведений под руководством директора департамента полиции исполнительной тайн.сов. Штера. СПб.: тип. Ивана Глазунова, 1829. 95 с.

Chapitre V. Des obligations qui naissent du mariage. §214–215 // Code civil des français. Paris, de l'imprimerie de la république. An XII, 1804.

REFERENCES

Velikorusskie narodnye pesni: nauchno-populyarnaya literatura. T. 3. Semeinye pesni [Great Russian folk songs: popular science literature. Vol. 3. Family songs]. Comp. A.I. Sobolevskii. St. Petersburg: type. Imp. Academician Sciences, 1897. 542 p. (in Russian).

Lazarevskii A.M. Chernigov 80 let tomu nazad. (Zametki starozhila) [Chernihiv 80 years ago. (Notes of an old-timer)], in *Kievskaya starina*. 1888. Vol. 22. No 8. Pp. 55–62 (in Russian).

Noveishii vseobshchii i polnyi pesennik ili sobranie vsekh upotrebyaemykh, dosel' izvestnykh novykh i starykh otbornykh pesen luchshikh v sem rode sochnitelei [The newest universal and complete songbook or collection of all hitherto used, well-known new and old selected songs by the best writers of this kind]. St. Petersburg: in the printing house of I. Glazunov, 1819. In 6 vol. (in Russian).

Rovinskii D. Russkie narodnye kartinki. Atlas [Russian folk pictures. Atlas]. Book 4. St. Petersburg: type. Imp. Academician Sciences, 1881. 788 p. (in Russian).

Roßiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv (RGIA). F. 1345. Inv. 98. D. 849.

Smirnov A.P. Pesni krest'yan Vladimirskoi gubernii Kovrovskogo uезда i Kostromskoi gubernii Buisckogo uезда [Songs of peasants of the Vladimir province of Kovrov district

and Kostroma province of Buysky district]. Moscow: at the Univ. typ., 1847. 188 p. (in Russian).

Sebian D.U. Golosa krest'yan i teksty byurokratov: narrativnaya struktura v nemetskikh protokolakh nachala Novogo vremeni [Voices of peasants and texts of bureaucrats: narrative structure in German protocols of the beginning of Modern times], in *Proshloe krupnym planom: sovremennye issledovaniya po mikroistorii* [The past in close-up: modern studies in microhistory]. St. Petersburg: European University: Aletheia, 2003. Pp. 58–85 (in Russian).

Chulkov M.D. *Novoe i polnoe sobranie rossiiskikh pesen, sodержashchee v sebe pesni lyubovnyya, pastusheskiya, shutlivyya, prostonarodnyya, khoral'nyya, svadebnyya, svyatochny, s prisovokupleniem pesen iz raznykh rossiiskikh oper i komedii* [A new and complete collection of Russian songs, containing songs of love, pastoral, joking, vernacular, choral, wedding, Yuletide, with the addition of songs from various Russian operas and comedies]. Moscow: In the University Printing House by N. Novikov, 1780. 202 p. (in Russian).

Shter M.P. *Statisticheskoe izobrazhenie gorodov posadov Rossiiskoi imperii po 1825 god, sostavlennoe iz ofitsial'nykh svedenii pod rukovodstvom direktora departamenta politsii ispolnitel'noi tain.sov. Shtera* [Statistical image of the towns of the Russian Empire in 1825, compiled from official information under the direction of the Director of the Police Department of the Executive Secret Service Stern]. St. Petersburg: type. Ivan Glazunov, 1829. 95 p. (in Russian).

Chapitre V. Des obligations qui naissent du mariage. § 214–215, in Code civil des français. Paris, de l'imprimerie de la république. An XII, 1804.

Статья принята к публикации 21.09.2023